

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ МАКРОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

О.Ю. Малинова

Исследование проведено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда, грант № 09-03-00218а.

Ключевые слова: символическая политика, “кризис идентичности”, макрополитическая идентичность, макрополитическое сообщество, идея нации.

Одной из проблем, с которой российское общество столкнулось после распада СССР, оказался комплекс социальных и ментальных сдвигов, определяемый как “кризис идентичности”. Важно подчеркнуть, что этот кризис был обусловлен не только необходимостью переосмысления представлений о нас с учетом новых географических, политических и социальных границ, но и острыми идеологическими конфликтами, которыми это переосмысление сопровождалось. Изменения в той или иной степени затронули все виды социальной идентичности. В настоящей статье речь пойдет лишь об одном из аспектов этой комплексной проблемы — об идентификации политического и культурного сообщества, стоящего за российским государством, сообщества, которое, согласно ст. 3 Конституции РФ, является “носителем суверенитета и единственным источником власти”. В современном политическом лексиконе для него есть разные обозначения: “многонациональный народ”, “граждане России”, “россияне”, “русские” и др. Определение указанного сообщества как “нации”, принятое во многих странах, в российском контексте вызывает споры. Очевидно, что за терминологическими различиями стоят когнитивные и мировоззренческие противоречия, которые усугубляют синдром “кризиса идентичности”. Ставя одной из своих задач исследование понятийного ряда, с помощью которого описывается сообщество, стоящее за новым российским государством, я буду говорить о конструировании *макрополитической идентичности*¹. Данный термин охватывает все основания идентификации рассматриваемого сообщества, присутствующие в *публичном* дискурсе, позволяя анализировать возникающие между ними смысловые конфликты. В то же время его можно рассматривать в качестве общего знаменателя для понятий, с помощью которых “российская идентичность” описывается в *научном* дискурсе — таких, как “политическая нация” [Паин 2008: 9; Каспé

МАЛИНОВА Ольга Юрьевна, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, президент Российской ассоциации политической науки. Для связи с автором: malinova@rapn.ru

¹ Выбор сделан с учетом того, что термин “политическая идентичность” используется для изучения партийной самоидентификации и электорального поведения и описывает социальные и идеологические основания выбора, осуществляемого индивидами в рамках политического процесса [Попова 2009]. Понятие “макрополитическая идентичность” указывает на идентификацию с более широким сообществом, которая предполагает наличие солидарности поверх границ, связанных с политическими и идеологическими предпочтениям.

2009: 5], “гражданско-государственная (национально-гражданская) идентичность” [Дробужева 2008: 69], комбинация “этнического и наднационального (цивилизационного) начал” [Зевелев 2009: 99] и др.

Конструирование макрополитической идентичности является важной составляющей политики современных государств. Причем интерпретация стоящих за государствами сообществ в качестве наций в рамках сложившейся политической картины мира является доминирующей: в эпоху модерна утверждение демократического представления о власти, выражающей волю народа, происходило параллельно с продвижением националистической идеи о том, что именно нации являются легитимными единицами политической организации. И хотя действительность никогда в полной мере не соответствовала этой идее, последняя оказала определяющее влияние на формирование способов социального воображения, присущих современным обществам [Calhoun 2007: 103-115]. Именно идея нации задает общую рамку, в которую так или иначе должна быть вписана макрополитическая идентичность: последняя связывается с принадлежностью либо к *нации* (определяемой по разным основаниям), либо к *наднациональному сообществу*. Причем предполагается, что в первом случае узы, скрепляющие сообщество, оказываются прочнее.

В действительности все современные государства в той или иной мере проводят “политику идентичности”, направленную на интеграцию стоящих за ними сообществ, поощрение солидарности, формирование определенного представления о Нас, опирающегося на те или иные интерпретации истории и культуры. С этнокультурной точки зрения эта политика отнюдь не является нейтральной: по словам У.Кимлики, все либеральные демократии “вовлечены в... процесс ‘нациестроительства’, т.е. обеспечивают распространение общего языка, чувство участия в социальных институтах, работающих на этом языке, и доступа к ним” [Kymlicka 2001: 19]. Инструментами этой политики являются официальный язык, школьные программы, требования, связанные с приобретением гражданства, национальные символы и праздники, переименование топографических объектов и т.п. Политика, направленная на формирование макрополитической идентичности, чрезвычайно важна для поддержания жизнеспособности современных государств (не только демократических, хотя для последних ее результаты особенно критичны). Такая политика, с одной стороны, призвана обеспечить интеграцию и солидарность граждан поверх социальных, этнических, религиозных, языковых, политико-идеологических и прочих границ, а с другой — связана с теми или иными решениями проблемы различий (т.е. с поиском адекватных способов их “признания”, либо с попытками их “сгладить”/оставить “незамеченными”).

Политика идентичности — если использовать это понятие расширительно, применяя его ко всем акторам, которые так или иначе участвуют в дискурсах и практиках, формирующих паттерны социальной идентификации — является важной составляющей *символической политики*. Данное понятие (в значении как *symbolic politics*, так и *symbolic policy*) нередко используется в смысле противопоставления политических действий, влекущих за собой “материальные” (*material, substantive*) результаты, действиям сугубо “символическим”. При этом неизменно отмечается условность данного разграничения, ибо “символическая” политика может иметь вполне материальные

последствия, а “материальные” меры (связанные, например, с распределением финансовых ресурсов) – быть инструментом борьбы за утверждение определенных способов интерпретации действительности [Cohen 1999: 2; Birkland 2005: 150-151; Schneider, Ingram 2008: 207]. Рост значимости символических составляющих политики справедливо связывается с развитием визуальных технологий коммуникации и особенностями демократических способов легитимации власти. Иногда символическая политика рассматривается как своеобразный суррогат “реальной” политики – впрочем, появляющийся в силу вполне объективных причин. Именно в такой интерпретации данное понятие было введено в российский научный оборот С.П.Поцелуевым. Согласно его определению, символическая политика – это “особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов”. Данный способ коммуникации предполагает “сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических ‘эрзацев’ (суррогатов) политических действий и решений” [Поцелуев 1999: 62].

Я использую этот термин в более широком смысле, опираясь на концепцию символической борьбы П.Бурдьё, согласно которой “работа по производству и внушению смыслов” и “борьба за навязывание легитимного видения социального мира” являются неотъемлемыми составляющими политического субполя [Бурдьё 1993: 66-67, 71]. Следуя этой логике, я буду понимать под символической политикой *деятельность политических акторов, направленную на производство и продвижение/навязывание определенных способов интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих*. Рассматриваемая таким образом символическая политика является не противоположностью, а скорее специфическим аспектом “реальной” политики. Очевидно, что в вопросах, имеющих отношение к политике идентичности, значение данного аспекта чрезвычайно велико (однако было бы неверно сводить такую политику исключительно к ее символической составляющей).

Хотя государство не является единственным актором символической политики, оно занимает особое положение на этом поле, поскольку обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью властного распределения ресурсов (например, при утверждении образовательных стандартов), правовой категоризации (как в случае законодательства о гражданстве), придания символам особого статуса (с помощью утверждения официальной символики, государственных праздников, учреждения наград), возможности выступать от имени макрополитического сообщества на международной арене и т.п. В связи с этим и публичные высказывания акторов, выступающих от имени государства и/или оказывающих влияние на принятие решений, имеют особое символическое значение и, как правило, становятся объектами соотнесения для других участников дискурса. При этом проводимая от имени государства символическая политика не обязательно отличается последовательностью: она отнюдь не всегда опирается на строго выверенные интерпретации социальной реальности (как это имеет место в случаях тоталитарных режимов) и неизбежно учитывает существующие в обществе конфликты, равно как и идео-

логические предпочтения озвучивающих ее лиц. Несмотря на эксклюзивные ресурсы, которыми обладает государство, доминирование поддерживаемых им интерпретаций социальной реальности отнюдь не предрешено: даже если “нужная” нормативно-ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается возможность “лукавого приспособления”² и “двоемыслия”.

Символическая политика осуществляется в *публичной сфере*, т.е. виртуальном пространстве, где в более или менее открытом режиме обсуждаются социально значимые проблемы, формируется общественное мнение, конструируются и переопределяются коллективные идентичности, иными словами — имеет место конкуренция разных способов интерпретации социальной реальности. Публичная сфера конституируется множеством частично пересекающихся “публик”, границы которых меняются во времени, пространстве, а также в зависимости от характера обсуждаемых тем [Малинова 2007а]. Как я попытаюсь показать, институциональные параметры публичной сферы оказывают значимое влияние на стратегии и возможности акторов символической политики.

В данной статье будут рассмотрены основные тенденции официальной символической политики, направленной на конструирование макрополитической идентичности в России, в 1990-х и 2000-х годах, причем основное внимание будет сосредоточено на трех взаимосвязанных проблемах: выбора основания идентификации сообщества, стоящего за новым Российским государством, определения критериев принадлежности к этому сообществу и конкуренции разных способов определения его идентичности.

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКРОПОЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, СТОЯЩЕГО ЗА РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ: КАК НАС НАЗЫВАТЬ И КОГО К НАМ ОТНОСИТЬ?

Задача конструирования макрополитической идентичности, способной обеспечить интеграцию населения постсоветской России в единое сообщество, с самого начала осложнялась множеством проблем. Во-первых, речь шла о формировании существенно “новой” идентичности, ибо в рамках СССР проект многонациональной Российской республики (в отличие от других союзных республик) не имел вполне четких культурно-политических очертаний. Безусловно, существовал солидный запас “строительного материала” в виде многовековой истории Российского государства (в менявшихся границах), русского языка и культуры (если не “своей”, то близкой для большей части населения), целой системы институтов, обеспечивавших общность социального опыта и др. Однако это наследие было обременено застарелыми идеологическими конфликтами, в силу чего его не так просто было использовать в целях консолидации сообщества. Во-вторых, сохранялась неопределенность в отношении границ конструируемого сообщества (как политико-географических, так и культурно-символических). В-третьих, идеологические расколы, сложившиеся в годы перестройки и углубившиеся с началом

² По мысли Ю.А.Левады, советские идеологические практики, навязывавшие индивидам универсальную нормативно-ценностную систему, формировали “человека лукавого”, соглашавшегося с предписываемыми установками — и одновременно искавшего способа их обойти [Левада 2000: 508-529].

реформ, затрудняли политическое самоопределение российского общества [Пантин, Лапкин 2006: 78] и конструирование моделей коллективной идентификации, способных стимулировать солидарность, перекрывающую неизбежные различия. В-четвертых, в меняющемся международном и внутриполитическом контексте определение Значимых Других, в соотношении с которыми предстояло конструировать новую макрополитическую идентичность, также стало поводом для разногласий [Малинова 2009: 141-178]. Эти и другие факторы обусловили очевидную противоречивость политики идентичности, проводившейся в постсоветской России.

Предметом острых дискуссий стал ключевой вопрос: как макрополитическое сообщество, стоящее за новым Российским государством, соотносится с идеей нации, которая в рамках сложившейся картины мира задает основной принцип легитимации “самоопределяющихся” политических единиц? Введенная Конституцией 1993 г. формула “многонациональный народ Российской Федерации” дает основания для разных способов ответа на этот вопрос. С одной стороны, она очевидным образом учитывает традиции советского дискурса, который отождествлял “национальность” с этничностью и демонстрировал равное символическое признание всех групп, подпадающих под данную категорию. На практике равное символическое признание дополнялось сложной иерархией форм институционализации этничности. Стремясь избежать конфликтов, связанных с отказом в привычном признании прав “национальностей”, создатели Конституции последовали примеру советской политики идентичности, рассматривавшей макрополитическую идентичность как наднациональную (“новая историческая общность – советский народ”): для определения основания макрополитического сообщества было выбрано существительное “народ”, прилагательное же “многонациональный” было зарезервировано для составляющих его “национальных” групп. С другой стороны, Конституция отводит роль суверена “народу” как целому, а не как совокупности составляющих его групп, и устанавливает равенство прав и свобод всех граждан РФ независимо от национальности, что открывает возможность для интерпретации обладающего суверенитетом сообщества как гражданской нации. Именно такая интерпретация ст. 3 Конституции была предложена в первом президентском послании Б.Н.Ельцина Федеральному собранию [Ельцин 1994].

Однако идея российской нации как сообщества всех граждан РФ с самого начала вызвала оппозицию со стороны тех, кто усматривал в ней ущемление прав “национальностей”, или выражал озабоченность тем, что перенос понятия “нация” на “общегосударственный” уровень может спровоцировать этнические конфликты [Тишков 2007б: 21, 39]. Против утверждения такой концепции выступают и те из русских националистов, кто полагает, что Россия должна оставаться империей и предпочитает сочетать рассуждения об особой роли в создании и поддержании этой империи русских как этнической группы с символическим признанием “многонациональности” [Малинова 2008: 66-79]. Даже представители либерально-демократической части спектра, которые считают строительство российской гражданской нации желанной перспективой, не рассматривают макрополитическое сообщество, стоящее за Российским государством, как сложившуюся нацию [Паин 2004: 18;

Ясин 2007: 16]. Более оптимистичный подход к оценке перспектив формирования гражданской нации настойчиво утверждается академиком В.А.Тишковым, по мнению которого основным препятствием “для признания существования российской нации” является не “недостаток схожести и солидарности россиян”, а неготовность политической и интеллектуальной элиты признать факт ее существования. По его словам, “переубеждение таких отрицателей, собственно говоря, и есть ‘нациестроительство’ или ‘формирование нации’” [Тишков 2007б: 561]. Однако задача “переубеждения”, по-видимому, не так проста [Малинова 2007б].

Вопрос об основаниях макрополитической идентичности тесно связан с вопросом о ее границах, или о критериях принадлежности к сообществу, стоящему за новым Российским государством. На этот счет также существуют разные точки зрения. С одной стороны, политические границы, сложившиеся после распада СССР, не всеми были восприняты как окончательные. Различные проекты реинтеграции постсоветского пространства, от экстремистской идеи полного или частичного восстановления государства в прежних границах, высказываемой некоторыми “имперскими” националистами, до более умеренной концепции постепенного сближения за счет формирования межгосударственных союзов, побуждают к воображению границ российской макрополитической идентичности как временных/открытых. С другой стороны, с учетом особенностей постсоветской ситуации (широкое распространение русского языка и русской культуры как внутри РФ, так и на постсоветском пространстве) оказываются возможными различные подходы к конструированию идентичности по этнокультурным и лингвистическим основаниям. В российском политическом дискурсе сосуществуют разные способы определения русской идентичности, которая остается необходимым и существенным дополнением идентичности российской [Миллер 2007: 11, 14]. В конце 1990-х годов В.Тольц выделила пять основных альтернативных способов ее определения: (1) “союзная” модель, в которой русские выступают как имперский народ, создавший наднациональное государство и играющий в нем особую роль, (2) восточнославянская модель, рассматривающая общее прошлое и этнокультурную близость русского, украинского и белорусского этносов как основу для возможной интеграции в единое макрополитическое сообщество, (3) лингвистическая модель, рассматривающая в качестве русских всех, для кого русский язык является родным; согласно интерпретации В.Тольц, эта модель также опирается на православие, однако едва ли эта связь именно в данном случае столь очевидна; (4) этническая модель, определяющая русскость по происхождению, (5) гражданская модель, связывающая принадлежность к русской/российской нации с гражданством РФ [Tolz 1998]. Хотя эта классификация и нуждается в некоторых уточнениях, она дает достаточно полное представление о том, сколь существенно меняются критерии принадлежности к сообществу, которое мыслится как нация, в зависимости от выбора той или иной модели. За выделенными альтернативами стоят не только геополитические амбиции политиков, но и неоднозначные представления граждан о границах групп, с которыми они себя отождествляют.

Учитывая, сколь противоречивы представления об основаниях и границах макрополитической идентичности, стоящей за новым Российским государ-

ством, обнаруживаемые в элитарном дискурсе и массовом сознании, вряд ли нужно удивляться тому, что символическая политика самого государства в этих важных и чреватых конфликтами вопросах не отличалась последовательностью. В 2000-х годах, как и в 1990-х, нормативные решения и официальные высказывания высших должностных лиц колеблются между интерпретацией конституционной формулы “многонациональный народ Российской Федерации” в смысле наднациональной надстройки над идентичностями составляющих “народ” национальностей (в духе “новой исторической общности – советский народ”) или в значении гражданской нации. Так, в принятой накануне президентских выборов 1996 г. указом Б.Н.Ельцина “Концепции государственной национальной политики РФ” Россия определяется как “многонациональное государство” (не “народ”, как в Конституции) [Концепция 1996]. Термин “нация” в данном документе вовсе не используется. Как поясняет один из разработчиков концепции, этот шаг следует рассматривать как своего рода компромисс: “Концепция не вводит категорию гражданской российской нации, но ограничивает официальный язык достаточно достойными понятиями как народы или национальности”. При этом делается “уступка в пользу этнического понимания термина ‘народ’” [Тишков 1996: 17].

Неоднократные попытки принять федеральный закон, призванный заменить Концепцию 1996 г., так и не увенчались успехом. В 2003 г. в Думу был внесен законопроект “Об основах государственной национальной политики РФ”, в 2006 г. – зарегистрирована новая редакция проекта ФЗ, имеющая название “Об основах государственной политики в сфере межэтнических отношений в Российской Федерации” (№ 369190-3). В случае его принятия закон с новым названием стал бы весьма решительным шагом в направлении концепции российской гражданской нации. Однако этот шаг (пока?) не сделан: рассмотрение законопроекта, назначенное на декабрь 2009 г., в очередной раз отложено.

Столь же неоднозначно и представление оснований макрополитической идентификации в риторике официальных лиц. С одной стороны, в выступлениях всех трех российских президентов существительное “нация” и производные от него прилагательные систематически использовались по отношению к России как нации в ряду других наций, т.е. в “западном” значении данного слова (в таких словосочетаниях как “национальные интересы”, “национальная безопасность”, “национальная промышленность”, “здоровье нации”, “общенациональные проблемы”, “национальные проекты” и т.п.). При этом понятие “нация” связывалось не только с Россией как участницей международной системы государств, но и со стоящим за нею сообществом, имеющим определенные исторические и культурные традиции и обладающим политической субъектностью и волей к коллективному действию. Например, в текстах президентских посланий Федеральному Собранию можно найти упоминания об “отечественной культуре”, которая “обеспечивает целостность нации” [Ельцин 1995], опасения, “сможем ли мы сохраниться как нация, как цивилизация, если наше благополучие вновь и вновь будет зависеть от выдачи международных кредитов и от благосклонности лидеров мировой экономики” [Путин 2000], тезис о том, что “Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией”, рассуждения о “цивилизаторской миссии российской нации на евразийском континенте” [Путин 2005], о “достойном месте... для всей

российской нации в системе международных отношений” и о ее “единстве” [Медведев 2008] и т.п. Употребление понятия “нация” и его производных в официальных выступлениях первого лица, безусловно, значимо с точки зрения продвижения представления о России как гражданской нации. Однако наряду с этим в выступлениях российских президентов сохраняются и упоминания о проблемах *межнациональных* отношений (иногда как синоним в том же тексте используется термин “межэтнический”), о России как *многонациональной стране*, о задаче поддержания *межнационального мира* и т.п. Таким образом, в высказываниях президентов Б.Н.Ельцина, В.В.Путина и Д.А.Медведева присутствуют различные варианты интерпретации конституционной формулы “многонационального народа”.

Вместе с тем, анализируя дискурс лояльной власти части политического класса в 2000-х годах, нетрудно обнаружить, что проект гражданской российской нации отнюдь не рассматривается ею в качестве однозначной и несомненной цели. В частности, на это указывает так наз. Русский проект “Единой России”, запущенный в 2007 г. Проект предполагал проведение виртуальных и “живых” дискуссий, призванных дать ответ на вопрос на “десять русских вопросов”. Внедряя термин “русский” вместо политкорректного “российский”, организаторы проекта преследовали двойную цель: дистанцироваться от политики ельцинского периода и “национального нигилизма” “либералов-западников”, стремившихся продвигать “гражданский” вариант национальной идентичности, и “реабилитировать” традиции имперского прошлого и культуры, за которой исторически закрепилось название “русская”. При этом настойчиво подчеркивалось, что “русскость” следует определять в терминах языка и культуры, а не происхождения [Исаев 2006: 7-9]. По-видимому, “Русский проект” можно рассматривать не только как средство предвыборной мобилизации части националистически настроенного электората, но и как попытку оценить возможные альтернативы проекту “российской гражданской нации”, не сумевшему завоевать достаточной поддержки.

В дальнейшем чаша весов стала склоняться в пользу проекта “российской нации”. В начале 2008 г., в преддверии президентской избирательной кампании, “Русский проект” был свернут и вскоре при активной поддержке сверху был создан Общероссийский союз общественных объединений “Российская нация”, призванный распространять и упрочивать в общественном сознании идею политической и гражданской нации, а затем учреждены одноименный Интернет-ресурс [б.г.а.] и журнал “Вестник Российской нации”. По мнению Зверевой, эти шаги знаменуют движение в направлении “учреждения ‘российской нации’”. Впрочем, как она показывает, выбор ключевого словосочетания не означает однозначной поддержки проекта “гражданской” нации и отказа от идеи “многонационального народа”. Как полагает Зверева, “российская нация” оказывается “зонтичным понятием”, которое “позволяет нивелировать общественные разногласия, ‘покрывать’ и ‘поглощать’ разные представления о том, какой должна быть доминанта коллективной идентичности в современной России” [Зверева 2009: 423]. Хотя выбор понятия, безусловно, не отменяет конкуренции разных представлений о российском макрополитическом сообществе, я бы не стала преуменьшать его значимость с точки зрения того, что П.Бурдые назвал “властью номинации” [Бурдые 1993: 72-77]. Выбор “номи-

нации” — разумеется, если он закрепится в официальных текстах и речевых практиках российского политического класса — не положит конец дискуссиям “о нации”, но переведет их в иную плоскость, внося некоторую определенность в базовый вопрос о соотношении между макрополитическим сообществом и идеей нации. Впрочем, пока этот выбор не состоялся — скорее мы имеем дело с тенденцией, судьбу которой определит время.

Не менее сложно обстоит дело с определением границ указанного сообщества и критериев принадлежности к нему. Еще в начале 1990-х годов на уровне государственной политики был сделан выбор в пользу “гражданского” принципа определения российской нации и равенства ее членов независимо от их этнической, религиозной и расовой принадлежности (этот принцип закреплен в Конституции 1993 г.). Примерно в то же время был введен в оборот термин “соотечественники”, указывающий на потенциальных членов культурно-политической общности, выходящей за рамки государственных границ России. Обычно данный термин относят к тем, кто проживает за пределами РФ, но, сознавая свои культурные и языковые связи с Россией, стремятся так или иначе идентифицировать себя с “олицетворяемым” ею сообществом. Не имея возможности проследить в рамках данной статьи динамику политического курса по отношению к *соотечественникам*, отметим лишь, что на протяжении всего постсоветского периода он колебался между разными подходами к включению указанной категории в сообщество, связанное с Российским государством. В 1990-х годах политика государства в значительной мере определялась стремлением создать каналы для непосредственного включения *соотечественников* в российскую гражданскую нацию: в этом направлении работал закон о гражданстве 1991 г. (с более поздними изменениями и поправками), предусматривавший облегченную процедуру получения российского гражданства для граждан бывшего СССР, а также дипломатические попытки распространить институт двойного гражданства (впрочем, не вполне успешные). Новый закон о гражданстве, принятый в 2002 г., изменил практику получения гражданства в сторону ужесточения. Несмотря на внесенные в 2003–2006 гг. смягчающие поправки, он отразил тенденцию к ограничению каналов прямого включения *соотечественников* в российскую гражданскую нацию. Другой подход, практиковавшийся и в 1990-х, и в 2000-х годах, связан с конструированием более широкой общности, опирающейся на историческую и культурную идентификацию с Россией, и курсом на “поддержку соотечественников за рубежом”. Однако поскольку соблазн использовать ресурс *соотечественников* сопряжен с риском осложнения отношений с выстраивающими собственные национальные идентичности новыми независимыми государствами, на практике при реализации данного курса обнаруживается “существенный разрыв между жесткой риторикой и реальной политикой” [Зевелев 2008: 241].

В целом символическая политика Российского государства, направленная на конструирование макрополитической идентичности, отражала существующие конфликты между разными интерпретациями ее основания (нация или наднациональная “общность”) и границ/критериев включения (гражданство, этническая и конфессиональная принадлежность, язык и культура). Оставаясь в пределах конституционных рамок, предписывавших принцип вклю-

чения на основе равного гражданства, государственная политика идентичности постсоветского периода демонстрировала значительную меру неопределенности, пытаясь так или иначе удовлетворить ожиданиям сторонников разных подходов. Впрочем, следует признать, что более “определенная” символическая политика вероятно спровоцировала бы конфликты, последствия которых трудно предсказать. И в этом смысле, как верно заметил И.А.Зевелев, “невнятность” российской политики оказалась “спасительной” [Зевелев 2009: 92]. Однако сохранение неопределенности в отношении “оснований” и “границ” означает, что конструирование макрополитической идентичности, стоящей за Российским государством, остается “замороженным” проектом, к работе над которым рано или поздно придется вернуться. Во второй половине 2000-х годов в символической политике государства наметилась линия на более определенную поддержку модели российской нации-согражданства. Но с учетом отсутствия прочного общественного консенсуса в пользу данной модели (в том числе — и в рядах лояльной власти части политической элиты), трудно строить прогнозы относительно устойчивости данной тенденции.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА НАС: КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Пожалуй, еще более важным аспектом символической политики, направленной на формирование макрополитической идентичности, является борьба за утверждение определенных представлений, образов, нарративов, символов, составляющих “коллективный автопортрет” сообщества и указывающих на ценностные основания его солидарности. Образ Нас складывается в публичном дискурсе через соотнесение со Значимыми Другими, а также через конструирование Нашего прошлого и будущего. Дискурс об идентичности предполагает, с одной стороны, осмысление различий между Нами и Другими в качестве *границ*, разделяющих группы, а с другой — утверждение внутригруппового сходства как основы *общности*. Причем и то, и другое связано с выбором из множества наличных альтернатив, ибо, как верно подметил С.Каспэ, “политическая нация может возникнуть только в результате *выкраивания* ее центральной ценностной системы из всей совокупности ценностей, исторически и ситуативно доступных для мобилизации в целях *nation-building*” [Каспэ 2009: 22]. Этот выбор происходит через конкуренцию разных способов коллективной самоидентификации, в которой модели, продвигаемые государством, в силу причин, описанных выше, обладают существенным, хотя и не безусловным преимуществом. По мнению многих исследователей, именно неспособность российского политического класса совершить этот выбор является центральной проблемой на пути к консолидации макрополитического сообщества [Каспэ, Каспэ 2006: 17; Гудков, Дубин 2007: 21; Дробижева 2008: 74; Каспэ 2009 и др.].

Задача конструирования ценностно-смыслового содержания макрополитической идентичности имеет комплексный характер. Не имея возможности рассмотреть здесь все ее составляющие, я остановлюсь лишь на одном, но весьма показательном аспекте: проблеме взаимной адаптации сложившихся образов нашего прошлого и новых, демократических ценностей.

С самого появления нового Российского государства демократия провозглашалась официальной целью политического развития. В выступлении

ях президента Ельцина приверженность данной цели неизменно представлялась в качестве важного элемента идентичности новой России (по контрасту с СССР) и результата свободного выбора ее граждан. Анализ текстов шести посланий Ельцина Федеральному Собранию позволяет проследить динамику репрезентации “демократии” в качестве основания новой коллективной идентичности и выявить некоторые проблемы, возникавшие в связи с решением этой задачи.

Прежде всего, “демократия” представлялась Ельциным как *новый* элемент макрополитической идентичности, которым следует гордиться, поскольку выбор в пользу “демократии” означал отказ от тоталитаризма и его негативных проявлений — несвободы, идеологического диктата, неэффективной экономики, нарушения прав человека и т.п. Вместе с тем, поворот к “демократии” интерпретировался как резкая перемена (*“Россия переходит из одной исторической эпохи в другую со скоростью, соизмеримой с жизнью одного поколения. Высокие темпы преобразований нередко приводят к издержкам”* [Ельцин 1995]). Прежде “демократия” не рассматривалась как элемент коллективной идентичности. В официальной советской идеологии она фигурировала с прилагательными: “буржуазная” (формальная, ложная) или “советская” (истинная); в годы перестройки “демократия” без прилагательных интерпретировалась как символ достижений Значимого Другого — “Запада”. “Присвоение” этой ценности предполагало переоценку национального прошлого. В дискурсе “демократических сил” эта переоценка была осуществлена в логике дуализма: трактовка опыта СССР как безусловно негативного побуждала проводить резкую грань между советским прошлым и новой, демократической Россией, возвращающейся на “путь цивилизации”. История досоветского периода также не могла в полной мере служить источником позитивных примеров, поскольку именно она обусловила податливость российского общества соблазну коммунистической утопии. Таким образом, новизна “демократии” в качестве элемента российской идентичности имела двоякие последствия: с одной стороны, она символизировала желание перемен, а с другой — побуждала рассматривать их как разрыв с национальными традициями. Неудивительно, что модель коллективной идентичности, конструировавшаяся “демократами”, категорически отвергалась “народно-патриотической оппозицией” и по этой причине едва ли могла служить основой для общенационального консенсуса.

Еще более серьезная трудность заключалась в том, что эффективность новой модели идентичности, опирающейся на идею “демократии”, зависела от успеха проводившихся под соответствующими лозунгами политических и экономических преобразований. По мере разочарования в реформах идея “демократии” утрачивала привлекательность в глазах россиян. Характерно, что в качестве одной из главных причин пробуксовки реформ в выступлениях Ельцина настойчиво указывались “издержки” той же “демократии”: “дефицит согласия” объявлялся одной из причин недостаточной эффективности и последовательности реформ [Ельцин 1999], наличные идейные разногласия интерпретировались как контрпродуктивные, выходящие за рамки “системы демократических ценностей” [Ельцин 1996]. Свобода слова провозглашалась священной — и в то же время порицались журналисты, которые “злоупотребляют” ею, необоснованно присваивая себе роль “политической оппозиции” [Ельцин

1995]. Анализ ельцинских текстов обнаруживает устойчивое противоречие между приверженностью политическому плюрализму как несомненному завоеванию и его восприятием в качестве препятствия к формированию солидарности, без которой невозможны эффективные политические действия.

Следствием этого противоречия стала попытка Ельцина в 1996 г., в начале второго президентского срока, инициировать разработку новой “национальной идеи”, призванной консолидировать общество. Эта попытка знаменовала очевидный поворот в символической политике — признание недостаточности идеологического нейтралитета государства, декларированного в ст. 13 Конституции, и потребности в более активной позиции последнего на поле символической борьбы. Однако в 1990-х годах попытка власти стимулировать соперничающие политические силы к поиску “национальной идеи” не привела к искомому консенсусу. Весьма характерны выводы, к которым пришел в результате анализа дискуссии середины 1990-х годов американский политолог М.Урбан: несмотря на то, что дискурсы коммунистов/ патриотов, демократов и государственныхников имеют структурное сходство, общая цель — сформулировать эксплицитно идею сообщества и превратить ее в государственную идеологию — не снижает остроты конфликта вокруг ее содержания [Urban 1998: 985]. Идеологические размежевания 1990-х оказались серьезным препятствием для обретения согласия относительно ценностно-смыслового содержания идентичности складывающегося макрополитического сообщества.

Политические реформы президента В.В. Путина сделали возможным переход к иным стратегиям мобилизации солидарности. Не будучи в отличие от своего предшественника связан принадлежностью к политико-идеологическим лагерям 1990-х годов, Путин мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара “народно-патриотической оппозиции”, казавшиеся абсолютно неприемлемыми для “демократов”. С самого начала, с принятия в 2000 г. закона о государственной символике, соединившего “демократический” триколор и мелодию “старого” советского гимна, символическая политика Путина отличалась принципиальной эклектичностью, стремлением сочетать идеи и ценности из репертуаров разных политических сил. При этом “единство” достигается чисто механическим путем: совмещение элементов противоположных смысловых систем не сопровождается их содержательным переопределением, объектами официальной номинации оказываются взаимоисключающие — в логиках прежних “символических битв” — идеи и символы.

Характерный тому пример — концепция “суверенной демократии”, сформулированная в общих чертах в президентском послании Путина Федеральному Собранию в 2005 г. и получившая более детальную разработку в текстах целой плеяды политиков и публичных интеллектуалов во главе с заместителем руководителя Администрации Президента В.Ю.Сурковым. Тезис о “суверенности” российской демократии (*“Россия — это страна, которая выбрала для себя демократию волей собственного народа”* [Путин 2005]), с одной стороны, утверждал ее самобытность и независимость от чужой указки. При этом он очевидным образом оправдывал “особенности” отечественного транзита (*“как суверенная страна Россия способна и будет самостоятельно определять для себя и сроки, и условия движения по этому пути”* [Путин 2005]). С другой стороны, этот тезис утверждал демократию как “Нашу собственную”, а не навязанную извне цель. Таким

образом, он был направлен, с одной стороны, против интерпретации результатов холодной войны как победы “демократии”/Запада и поражения “тоталитаризма”/СССР/России, а с другой – оспаривал представление о том, что авторитарность власти является неотъемлемой чертой отечественной культуры.

Чтобы обосновать представление о России как о “суверенной” стране, разделяющей идеалы “сообщества самых развитых государств” и способной самостоятельно и “по-своему” их развивать, необходимо было показать, что “демократия” является “органической” для России ценностью. Главным аргументом здесь является момент “выбора”, связанный с оценкой опыта 1990-х годов. Следует заметить, что внутренняя политика второго президента России с самого начала представлялась по принципу контраста с ельцинским периодом: ее фирменным знаком стало “укрепление государства”, ослабленного, если не “разваленного” в 1990-х годах. В текстах путинских выступлений можно обнаружить немало критических замечаний в адрес политики Ельцина. Вместе с тем, второй президент России подчеркивал и преемственность своего курса, прежде всего – в смысле приверженности сделанному в 1990-х годах “демократическому выбору”. В итоговом президентском послании 2007 г. Путин констатировал, что, несмотря на все проблемы и неудачи 1990-х годов “именно в этот непростой период был заложен фундамент будущих перемен” [Путин 2007]. Таким образом, и в вопросах оценки новейшей российской истории Путин и идеологи его администрации стремились придерживаться “срединной линии”, удовлетворяющей в какой-то мере чаяниям сторонников противоборствующих концепций, но не совпадающей ни с одной из них.

Такая стратегия принесла определенные результаты: она если и не привела к искомому согласию, то, по крайней мере, создала основания для консолидации аморфного большинства вокруг широких и не вполне четких идей, которые могут по-разному интерпретироваться. Однако она не привела – и не могла привести – к формированию *содержательного* общественного консенсуса относительно системы ключевых ценностей, символов и нарративов, определяющих современную российскую идентичность, поскольку не была нацелена на “проработку” различий в их интерпретациях. Как верно подметили И. и С. Каспэ, основным стрержнем путинской символической политики был “призыв к тотальной консолидации”, основанный на “фобии любых разделений внутри пространства консенсуса” [Каспэ, Каспэ 2006: 20].

Представляется, что символическая политика Путина может быть адекватно понята лишь с учетом особенностей трансформации российской публичной сферы в постсоветский период [Малинова 2007а]. В результате политических и экономических реформ 1990-х годов в России сложилась особая конфигурация публичного пространства: в нем выделяется “ядро”, представленное центральными телеканалами и в значительно меньшей степени – немногими периодическими изданиями, имеющими относительно высокие тиражи, и “периферия”, образуемая фрагментированными локальными публикациями и публикациями единомышленников. Данное обстоятельство влечет за собой два важных следствия: во-первых, шансы того или иного дискурса на “популярность” зависят от того, насколько он представлен в “ядре” публичного пространства; во-вторых, для того, чтобы эффективно управлять общественной *повесткой дня*, достаточно контролировать “ядро”: арены, образующие

“периферию” публичной сферы, слишком малочисленны и слишком изолированы друг от друга, чтобы оказывать значимое влияние. В 1990-х годах власти не предпринимали серьезных попыток воспользоваться такой ситуацией, чтобы исключить из “ядра” публичной сферы “неудобные” для нее дискурсы. Трудно сказать, что было тому причиной — приверженность демократическим ценностям, потребность в поддержке со стороны СМИ или слабость государства [Липман, Петров 2007: 198-199].

Однако с приходом к власти президента Путина векторы развития публичной сферы заметно изменились. Результатами политических реформ, проводившихся под лозунгом укрепления государства, стали трансформация партийной и избирательной систем, ограничение самостоятельности парламента, сокращение списка обладателей властных полномочий, избираемых гражданами, ослабление власти губернаторов, нейтрализация политического влияния бизнеса, частичное ограничение независимости СМИ и др. По удачному определению А.Ю.Зудина, итогом политических реформ начала 2000-х годов стал переход от “полицентризма” к “моноцентризму” [Зудин 2003], сопровождающийся исключением или маргинализацией игроков, которых не получается контролировать. Побочным результатом предпринятых мер стало сокращение числа площадок, на которых могут публично обсуждаться и оспариваться альтернативные политические проекты (хотя одновременно была создана дополнительная арена для “репрезентации” общественного мнения в лице Общественной палаты). В известном смысле оказалось ограниченным и содержание самих альтернативных проектов, поскольку в результате проведенных реформ существование партий, неугодных Кремлю, представляется весьма проблематичным.

Подводя итоги, можно констатировать, что по разным причинам в процессе политической трансформации 1990-х годов России не удалось создать эффективные институциональные “площадки” для обсуждения общественно значимых проблем и способов их решения. Идеологические конфликты в фрагментированном публичном пространстве существенно затруднили задачу конструирования новой макрополитической идентичности. В 2000-х годах был взят курс на установление “согласия сверху” путем внедрения эклектической модели макрополитической идентичности, сочетающей элементы разных дискурсов и в то же время — частичного ограничения плюрализма в “ядре” публичной сферы. Эта стратегия оказалась успешной с точки зрения мобилизации массовой поддержки “курса Путина”, но не решения спорных вопросов.

Достигнутая “стабилизация” политического дискурса позволила снять напряженность символических конфликтов, связанных с определением оснований, границ и ценностно-смысловой структуры макрополитической идентичности, стоящей за Российским государством. Однако без серьезной “проработки” этих конфликтов и поиска “общего знаменателя”, способного послужить основой для конструктивного общественного диалога, едва ли удастся в полной мере преодолеть постсоветский “кризис идентичности”. Официальной символической политике принадлежит немалая роль в этой политике изменений, однако и сама она нуждается в изменениях. К сожалению, нынешняя конфигурация публичного пространства не слишком способствует развитию серьезных общественных дискуссий по всему комплек-

су проблем, определяющих параметры новой российской макрополитической идентичности.

Бурдые П. 1993. *Социология политики*. М.: Socio-Logos.

Гудков Л., Дубин Б. 2007. Посттоталитарный синдром: “управляемая демократия” и апатия масс. — *Пути российского посткоммунизма: Очерки* (под ред. М.Липман и А.Рябова). М.: Изд-во Р.Элинина.

Дробижева Л.М. 2008. Процессы гражданской интеграции в полиэтничном российском обществе (Тенденции и проблемы). — *Общественные науки и современность*, № 2.

Ельцин Б.Н. 1994. *Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “Об укреплении Российского Государства”*. — Доступ: http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html.

Ельцин Б.Н. 1995. *Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “О действенности государственной власти в России”*. — Доступ: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejstvennosti_gosudarstvennoj_vlasti_v_rossii_1995_god.html.

Ельцин Б.Н. 1996. *Послание Президента России Б.Н.Ельцина Федеральному Собранию РФ “Россия за которую мы в ответе”*. — Доступ: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html

Ельцин Б.Н. 1999. *Послание Президента России Б.Н.Ельцина Федеральному Собранию РФ: “Россия на рубеже эпох”*. — Доступ: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_na_rubezhe_jepokh_1999_god.html

Зверева Г.И. 2009. Учреждение “российской нации”: год 2008. — *Пути России: современное интеллектуальное пространство: школы, направления, поколения*. М.: Университетская книга.

Зевелев И.А. 2008. Соотечественники в российской политике на постсоветском пространстве: наследие империи и государственный прагматизм. — *Наследие империй и будущее России*.

Зевелев И.А. 2009. Будущее России: нация или цивилизация? — *Россия в глобальной политике*, № 5.

Зудин А.Ю. 2003. Режим В.Путина: Контуры новой политической системы. — *Общественные науки и современность*, № 2.

Исаев А. 2006. “Единая Россия” — партия русской политической культуры. М.: Изд-во “Европа”.

Каспэ И., Каспэ С. 2006. Поле битвы — страна. Nation-building и наши нэйшнбилдеры. — *Неприкосновенный запас*, № 6 (50).

Каспэ С.И. 2009. Политическая нация и ценностный выбор: общие положения, российский случай (1). — *Полития*, № 2.

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. 1996. Утверждена Указом президента РФ от 15 июня 1996 г. — Доступ: <http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/>

Левада Ю. 2000. Человек лукавый: двоемыслие по-российски. — *От мнений к понятию. Социологические очерки 1993–2000*. М.: Московская школа политических исследований.

Липман М., Петров Н. 2007. Взаимодействие власти и общества. — *Пути российского посткоммунизма: Очерки* (под ред. М.Липман и А.Рябова). М.: Изд-во Р.Элинина.

Малинова О.Ю. 2007а. Идеологический плюрализм и трансформация публичной сферы в постсоветской России. — *Полис*, № 1.

Малинова О.Ю. 2007б. Конструирование идентичности: возможности и ограничения. — *Pro et Contra*, № 3 (37).

- Малинова О.Ю. 2008. Тема империи в современных российских политических дискурсах. — *Наследие империй и будущее России*. М.: Новое Литературное Обозрение.
- Малинова О.Ю. 2009. *Россия и “Запад” в XX веке: Трансформация дискурса о коллективной идентичности*. М.: РОССПЭН.
- Медведев Д.А. 2008. *Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, 5 ноября 2008 года*. — Доступ: http://www.kremlin.ru/appears/2008/11/05/1349_type63372type63374type63381type82634_208749.shtml.
- Миллер А.И. 2007. Нация как рамка политической жизни. — *Pro et Contra*, № 3 (37).
- Паин Э.А. 2004. *Между империей и нацией: модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России*. М.: Новое издательство.
- Паин Э.А. 2008. Исторический “бег по кругу” (Попытка объяснения причин циклических срывов модернизационных процессов в России). — *Общественные науки и современность*, № 4.
- Пантин В.И., Лапкин В.В. 2006. Политическое самоопределение российского общества (Внутренние факторы и ограничения). — *Общественные науки и современность*, № 4.
- Попова О.В. 2009. Особенности политической идентичности в России и странах Европы. — *Полис*, № 1.
- Поцелуев С.П. 1999. Символическая политика как инсценирование и эстетизация. — *Полис*, № 5.
- Путин В.В. 2000. *Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, 8 июля 2000 г.* — Доступ: http://www.kremlin.ru/appears/2000/07/08/0000_type63372type63374_28782.shtml.
- Путин В.В. 2005. *Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, 25 апреля 2005 г.* — Доступ: http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml.
- Путин В.В. 2007. *Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 г.* — Доступ: http://www.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml.
- Тишков В.А. 1996. Концептуальная эволюция национальной политики в России. — *Исследования по прикладной и неотложной этнологии*. Вып. 100. М. Доступ: http://www.iea.ras.ru/engine/documents/applied/1996_100_Tishkov.pdf
- Тишков В.А. 2007а. Российская нация и ее критики. — *Национализм в мировой истории* (под ред. В.А.Тишкова, В.А.Шнирельмана). М.: Наука.
- Тишков В.А. 2007б. Что есть Россия и Российский народ? — *Pro et Contra*, 2007, № 3 (37).
- Ясин Е.А. 2007. Фантомные боли ушедшей империи. — *После империи* (под ред. И.М.Клямкина). — М.: Фонд “Либеральная миссия”. б.г. Доступ: <http://www.rosnation.ru/index.php?D=10>
- Birkland T.A. 2005. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Public Policy Making*. N.Y.: M.E.Sharp.
- Calhoun C. 2007. *Nations Matter. Culture, History, and the Cosmopolitan Dream*. L.: Routledge.
- Cohen J.E. 1999. *Presidential Responsiveness and Public Policy-Making: The Public and the Policies that Presidents Choose*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Kymlicka W. 2001. Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe. — Kymlicka W., Opalski M. (eds.) *Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Schneider A.L., Ingram H. 2008. Social Constructions in the Study of Public Policy. — Holstein J.A., Gubruim J.F. (eds.) *Handbook of Constructionist Research*. N.Y.: The Guilford Press.
- Tolz V. 1998. Forging the Nation: National Identity and Nation Building in Post-Communist Russia. — *Europe-Asia Studies*, vol. 50, № 6.
- Urban M. 1998. Remythologizing the Russian State. — *Europe-Asia Studies*, vol. 50, № 6.